

В. Л. Рабинович

Лицеизречение отсутствия¹

К размерам и тонам строги,
Поэты шьют тебе стихи,
А в самом лучшем ателье
Слагают платья о тебе.

Виктор Шекачев

Аннотация: в статье рассматривается поэтика Н. В. Гоголя с точки зрения «лицеизречения отсутствия» и в контексте с творчеством И. Чавчавадзе, с современной анимацией (Ю. Норштейн) и поэзией О. Мандельштама («я пью за военные астры»).

Ключевые слова: культурология, поэтика, Н. В. Гоголь, физика быта, метафизика бытия, «вседневность», жизнь, симфония любви, «обличение невидимого», цезура — не просто пауза.

«**О**гонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник?..» Вспоминаете? Это знаменитая гоголевская «Шинель». А сочинил ее портной Петрович в соавторстве с Акакием Акакиевичем Башмачкиным. Сперва только в замысле — как идею шинели, дерзко и отважно увенчал ее, пустив поверху куницу, а по ходу ее сложения — этой воистину грандиозной поэмы — заменив ее более дешевой кошкой, зато самой лучшей из всех кошек, неотличимой от настоящей куницы. Вот из какого сора произрастала эта поэма! Как бы между тем...

Шьют стихи, а платья слагают...

Спустя лет 150 великий аниматор Ю. Б. Норштейн, с которым я познакомился в 1989 г. на интервью для первого номера придуманного мною журнала «Человек», как раз в это время рисовал теперь уже свою (в рифму с гоголевской) шинель. Он показал мне рисунок, на котором Акакий Акакиевич, копя деньги на свою обновку-поэму, экономя на всем — даже на своем утреннем чае, колет щипчиками кусковой сахар, а сахаринки падают на стол, а он, слюнявя указательный палец, собирает их, чтобы не пропало... И этот жест рачительного Акакия Акакиевича — не гоголевский вовсе, а чисто норштейновский как память его и моя о военном детстве (мы с ним почти ровесники). И все это в рифму с «Шинелью» Гоголя, продолженной в последнее десятилетие XX в. Щемяще и трогательно.

Слагают платья, а шьют стихи...

Физика быта (хаос) преобразуется в метафизику бытия (космос). Сор сахаринок выстраивается в стихи и паузы из прозы жизни в праздник вдохновенной восхищенности, обернувшейся

похищенностью этого шедевра у бедного Поэта-переписчика.

И снова Гоголь. Второй цикл его великой прозы — «Миргород», увидевший свет в 1835 г., а в этом цикле — «Старосветские помещики». Про то, как жили и чем жили «старички прошедшего века», «существователи», втянутые в «тину мелочей», когда ни одно их желание «не перелетает через часток, окружающий небольшой дворик». А это и есть «вседневность», которая под пером великого поэта, хотя и пишущего дивную (гоголевскую!) прозу, перестает быть «низкой». «Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина», — так пишет Гоголь (не о себе, о Пушкине).

А вот Пушкин о Гоголе и, в частности, о «Старосветских помещиках»: «...шутливая трогательная идиллия, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления». Но почему *шутливая*? Оставим сие без ответа. Обратим внимание на «вседневном» как на «совершенной истине». Здесь важна не только взглядчивая точность в деталях, но и подлинность чувства жизни Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича — наших бесконечно милых «существователей», существующих сквозь *наши* «слезы грусти и умиления» от тайной зависти к ним нас, не умеющих столь долго однолюбовствовать. А ведь мирок-то с точки зрения общественных революционно-демократических идеалов русских шестидесятников позапрошлого века маленький и пустой. Зато щемяще трогательный. Частно человеческий...

В. Г. Белинский никак не может взять в толк это кажущееся противоречие: пустая и никчемная жизнь, но ... жизнь! «И как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости!.. Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют,

¹ Первоначально этот текст назывался так: «А между тем поэты сочиняли свои хаосмосы. К метафизике повседневности. Гоголь, И.Чавчавадзе, Мандельштам».

а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, а между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филимоном о его Бавкиде, страдаете его глубокой, неземной горести...». Где здесь «мелкость», «пошлость» и, тем более, «гадость»? «Всесильный бог деталей» (*Пастернак*). Но деталь (точная) не может быть пошлой. Она прекрасна, и потому причастна к метафизически неземному: горю, несчастью, сочувствию... Были два любящих сердца, теперь их нет и никогда не будет. А они с этого момента ваши знакомцы, притом навсегда. И действительно: они только и делают, что едят и пьют, пьют и едят. Но зато как едят и как пьют! Она для него, он для нее — и вместе преображаются, когда приходят гости, а не просто едят и пьют, пьют и едят. Вдохновенно! Живут... Любят... Живут...

«А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?»

— Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?

— Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.

И так целый день, и даже вечер, а иногда и ночь. Поэзия чревоугодия... Подробного и внимательного...

«Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?»

— Чего же бы такого? — говорила Пульхерия Ивановна. — Разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?

— И то добре, — отвечал Афанасий Иванович.

— Или, может быть, вы съели бы киселику?

— И то хорошо, — отвечал Афанасий Иванович.

После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо».

Как бы само собою. *Между тем...* Но — с любовью, вошедшей в привычку. Чем не жизнь! Притом со смыслом, но не осознаваемым, что это и есть смысл.

Такова была эта стилистика. Стилистика гоголевского письма — иронически задушевного. Но с этою стилистикою — стиль самой жизни людей старого света, «существователей»...

А теперь написанная И. Чавчавадзе четверть века спустя (или около того), а именно в 1858–1863 гг., после «Старосветских помещиков», повесть «Кациа Адамиани?!», а по-русски — «Человек ли он?!», т. е. от Адама ли он.

Но сперва об авторе этого произведения. Это великий грузин — писатель, поэт, публицист,

общественный деятель, просветитель своего народа. Рожденный в 1837 г. и убитый в 1907 г. за прогрессивные взгляды. По отцу его род восходит к Гарсевану Чавчавадзе, которому грузинский царь Ираклий II поручил принять участие в составлении Георгиевского трактата 1783 г. о вхождении Грузии в состав Российской империи. На внучке Гарсевана, дочери поэта-романтика А. Чавчавадзе Нине был женат А. С. Грибоедов. Вот какой был этот достославный род. Жизнь самого И. Г. Чавчавадзе тесно переплелась с Россией. Особо эти связи сформировались в 1857–1861 гг., когда он жил и учился в Петербурге на юридическом факультете Университета. Именно в те годы Чавчавадзе знакомится со взглядами и сочинениями В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, с поэзией Н. А. Некрасова.

Обратите внимание: как раз в те годы замышляет писатель своего «Человека...». Более того: не только замышляет, но и пишет эту повесть. При всем ее своеобразии связь со «Старосветскими помещиками» очевидна. Еще одно влияние (Гоголь), на этот раз творческое (идейное, стилистическое, нравственное), глубинно очевидно. И в этом мы с вами сейчас убедимся. Но прежде о природе связи И. Чавчавадзе с Россией, с людьми России, стоящей накануне великой реформы: «Четыре года жил я в России и не видел отечества!.. И какие четыре года! Это вечность для тех, кто оторван от своей отчизны! Ведь четыре таких года — столп всего бытия, исток реки жизни, волосяной мост, перекинутый судьбой меж мраком и светом. Не для всех, а для тех лишь, кто отправился в Россию образовать там свой ум и подвигнуть дух...» А вернувшись на родину, дружить с поэтом А. Церетели... Просвещать свой народ, даже относясь к нему не всегда лицепрятно. Самое название повести указывает (правда, с долей сомнения) на квазиподобие человеку главного персонажа повести: «откормленное теля» — и больше ничего. А душу, которая растворилась в этой туше, ниоткуда не видно, «будто бы она расплылась в жиру его сиятельства» Луарсаба Таткаридзе. Но, расплывшись в жиру, она все же жива. Потому что этой душою любит наш князь свою никчемную княгиню Дареджан. Да и сам он тоже никчем, а вот поди ж ты, любит...

«И два эти птенца, две горлицы» живут себе душа в душу.

Любимым развлечением для духа, например, было такое. «Ты, душа моя, мудрая женщина!.. Так угадай, сколько мух сидит вот на той доске...» — спрашивал Луарсаб. Или: долетит ли струя дыма от куримого чубука до ближайшего облака или не долетит? А нежности, которыми награждал Луарсаб свою дражайшую половину, были вовсе гастро-

номической природы: «Ты салат души! Тархун моего сердца!..»

Главной в этой симфонии любви была мелодия еды — не только как сиюминутно вкушаемой, но как розовой мечты, например, на завтра: «Вот и ужин, божьей милостью, прошел. Пора и о завтрашнем дне подумать. Ведь как там ни говори: не успеешь всхрапнуть — опять надобно есть!» «Завтра?! — задумалась Дареджан, всем своим видом изображая заботу об деле важности чрезвычайной. — Завтра! Что бы ты, мой дружок, сказал о коровьих голяшках?» И тут уж разгорался нешуточный спор: голяшки в сопровождении чихиртмы (Дареджан) или бозбаши со сливой-кислицей (Луарсаб). Тут уж и в самом деле интеллектуальный поединок. Пир, так сказать, ума...

Интернациональная поэзия еды: «русскоязычный» малоросс Гоголь со своими помещиками из «старого света» и Чавчавадзе — певец любящих сердец Дареджан и дурашливого упряма Луарсаба. Еда, спор опять-таки про еду или про мух... Вот и вся жизнь. А что еще надо, когда есть любовь, пусть даже любовь-привычка?!

Общественный прогресс с осмысленно живущим человеком (Гоголь и Чавчавадзе — прогрессивные писатели каждый для своего народа) против своих же «существователей» или просто поэты упоительных подробностей просто жизни? Кто победил? Для «прогрессивных» литературоведов — первые, а просто читателей — вторые.

Так пить и есть для того, чтобы жить, или жить для того, чтобы есть и пить?..

«Помер наш Луарсаб так, как многие помирают между нами, ничего не прибавивши миру и ничего не отнявши смертью... Для чего приходили они и отчего ушли?.. чтоб на надгробном камне их явилась надпись, что “до ... года князь Луарсаб Таткаридзе и княгиня его Дареджан были живы, а потом померли”».

Именно для того! Как ровно для того же Пульхерия Ивановна со своим Афанасием Ивановичем...

Именно поэтому эти две повести — «русскоязычного» малороссиянина и кварельца из Восточной Грузии — оказались здесь рядом.

И опять Гоголь. С его лицемерием отсутствия — «обличением невидимого» (*Августин*). Поэтом пустого места с намеком на потрясающе подробное присутствие всего на свете во всех своих мыслимых и немыслимых подробностях, данных в «зернистом слове». По-гоголевски.

Послушайте, как выписывает поэт Гоголь своего Ивана Ивановича Перерепенку. Например, как тот любит дыни: «Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом

велит Гапке принести чернильницу и сам, собственной рукою, сделает надпись над бумажкою с семечками: “Сия дыня съедена такого-то числа”. Если при этом был какой-нибудь гость, то: “участвовал такой-то”». Дыни уже нет, а семена (намек на много дынь!) — вот они здесь. И свидетель этого мнимого присутствия на бахче отсутствия тоже тут в случае чего. Будущий урожай виртуальных дынь вместо всего лишь тех двух, действительно съеденных!..

А фантазмагорический нос коллежского асессора Ковалева! «Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место!..» «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!» Вновь отсутствие. А тут этот чиновник со своей табакеркою. Мол, понюхайте... А чем понюхать-то? «Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин... Экой пасквильный вид!»

Между тем нос себе прогуливался по Невскому проспекту и в ус не дул. Поэт Гоголь заключает: «...и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что не говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают!» У поэтов точно бывают. В модусе *между тем*. Как у Пушкина: «змия... между тем выползала». Лицемерим то, чего нет, исчерпывая все возможности гоголевской речи в ускользающе змеином междутемье.

А тут уже совсем в XX в. Д. Д. Шостакович кладет на музыку все тот же гоголевский «Нос». Не менее комически звучит эта небывальщина, живая и ныне.

Или у совсем завравшегося Хлестакова, а на самом деле трогательно незащищенного и маленького враля, который «с Пушкиным на дружеской ноге»: «Бывало, часто говорю ему: “Ну что, брат Пушкин?” — “Да так, брат, — отвечает бывало, — так как-то все...” Большой оригинал». Так он восстанавливает свою отсутствующую значимость (сиречь *человеческое достоинство*) пустопорожней речью. Но — *речью!* Все это я высмотрел в спектакле В. В. Мирзоева с М. А. Сухановым в роли Хлестакова.

Или вот Марья Антоновна, дочь городничего, просит у Хлестакова написать ей в альбомчик на память какие-нибудь стишки: «Вы, верно, их знаете много... Какие-нибудь однако хорошие, новые». А он отвечает на сие: «Да что стихи! Я много их знаю», — не зная ничего, кроме «о ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек!..» Жалкий вран, а жалко его, потому что пустота его трогательна. *Сквозь невидимые миру слезы...* Вот как бывает у гениальных поэтов!

Или Подколесин, сиганувший от тягостного будущего счастья семейной жизни в окно. И, как говорится, был таков! В свое безбрачие. В свое привычное без, которое лучше, чем неизвестное с — с женой и детишками, пузанчиками-розачиками, пупсиками-мупсиками, хоть и на него похожими. Не гоголевская ли это тоска по семейной жизни?!

Что еще в подтверждение поэтики лицемерия отсутствия? А вот еще что. Как тут обойтись без разговора двух русских мужиков о колесе чичиковской брочки: ««Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» “Доедет”, — отвечал другой. “А в Казань-то, я думаю, не доедет”, — отвечал другой. Этим разговор и кончился». Снова ничем, как заведено у Гоголя. Зато Птица-тройка. Русь! А в той тройке — Чичиков, помещик из Херсона, скупающий мертвые души, о которых поэма, а не роман в стихах. Только у поэта Гоголя возможен разговор о колесе, объемлющем пустоту круга, как мичман Дырка в его же «Женитьбе».

Н, Коржавин, наш современник: «Куда летишь ты, птица-тройка? — К [такой-то] матери лечу!» (цензурный вариант — мой).

И горстка пепла от второго тома «Мертвых душ»...

И наконец, последнее отступление в ХХ в.

Замечательный турецкий поэт Назым Хикмет в автобиографической прозе рассказывает: во время учебы в 1920-х гг. в Коммунистической академии он с группой китайских коммунистов участвовал в первомайской демонстрации. Китайцы несли сделанные собственными руками бумажные бабочки, все до одной одинаковые. После демонстрации на Васильевском спуске они их бросили. Поэт подобрал одну, и под крылом бабочки увидел филигранно нарисованную божью коровку. Так было на каждой бабочке. И что удивительно, все божьи коровки были разные. «Для кого все это? — спросил Назым у китайского товарища. — Ведь никто не видит». «Но ведь ты же увидел, значит для тебя», — ответил китаец.

А теперь и в самом деле пора заканчивать этот пир ума во время чумы, где *побратались невозможности*, свидетельствующие лицемерие отсутствия всех вещей этого мира в гоголевской речи, живой и ныне.

Настало время Мандельштама.

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня:

За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня,

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,

За розы в кабине ролс-ройса, за масло парижских картин.

Я пью за бискайские волны, за сливки альпийских кувшин,

За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин,

Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно:

Веселое асти-спуманте иль папского замка вино².

Вяч. Иванов в «Двух стихиях...» говорит: «Простое наименование вещей, перечисление предметов есть уже элемент поэзии...» Адам дарует всем имена и тем самым дает им возможность *быть*. Дарует им имя, а значит, и бытие. *Поэтически* воодушевляет...

« Так начинают жить стихом...» (Пастернак). Или просто жить — быть.

Мандельштамовский перечень окликает впечатляющий реестр И. Бродского — «Уснул Джон Донн...»

Казалось бы беспорядочные, оба списка организованы: один — тем, что *во здравие*, другой — тем, что Джон Донн уснул (= умер?), потому уснуло все вокруг — бессистемно (?). Все.

И все это, будучи названным (каждое) — не просто вещь, но слово Поэта, совпавшее с прозванием этой вещи, и потому сама эта вещь. Оглашенная, и потому отныне и *навсегда* бытийствующая.

Вино, опьянение, кайф от возлияния сродни миру, грезе, сну.

Но у Мандельштама «я пью» не означает «я выпил». «Я пью» — скорее обещание выпить. Поэтому у Мандельштама в стихотворении «Я пью...» «чудовищно-уплотненная реальность» «слова как такового»³. Как, впрочем, вообще в поэзии этого поэта.

Строить слово, строить из слов, бешено сопротивляющихся, но... сдающихся в бесстрастии словесной материи.

А теперь еще раз вчитаемся.

Трижды повторенное «я пью за...» И 12 вещей (или явлений, или еще чего-нибудь), с потрясающей ясностью и безукоризненной точностью индейца-лучника *поименованных*, и потому призванных *быть*. Восторженно. На счастье и на радость выкликнутых из непоименованного небытия. Вызванных из него одним лишь названием по имени. *Впервые-бытийственно* названных. Бытийственное через бытовое «я пью». Но — торжественное «Я пью» (и теперь уже «Я» заглавное)...

Перечислю предметы упоительного и ошалелого перечислительства (пока без уточняющих атрибуций): *за... астры, шубу, астму, желчь, музыку, бензин, розы, масло, волны, кувшин, спесь, хинин...* Станный, мягко говоря, получился наборчик. Хоть и нормальная дюжина, а все равно какая-то чертова «этого Мандельштама». Шуба в ряду с бензином, волны с маслом, а хинин с астрами...

² Здесь и далее фрагмент из моей статьи «Веселое и золотое» (с вариациями), опубликованной в книге «Имитаторы Рабиновича, или Небесный закройщик» (М., 2010).

³ Мандельштам О. Утро акмеизма. 1912 г.

Но — желчь все-таки с хинином, шуба со спесью, а розы с астмой... Целое дробится на *части*, а эти части каким-то непостижным умом образуются вновь сбиваются в *целое*.

Но есть еще и другая скрепа. Шестистопный амфибрахий с регулярной цезурой посередине (и потому все-таки трехстопный) и с парной мужской рифмой задает медность очень трезвой поступи с препинанием — остановкой после каждых трех шагов (каждый на один-два-три) в каждой шестистопной строке.

Но цезура — не просто пауза. Она — знак и звук внутренней рифмы: *астры — астму, савойских — ролс-ройса*. И все? Да, все. *Волны — англичанок, придумал — асти-спуманте* рифмами никак не назовешь. Зато *стоп* (= ступор) перед *спесивой англичанкой* и перед *асти-спуманте*, потому что вино (что пить будем?) еще не выбрано. Спотыкание без *спотыкача* — вина, должного заплести язык, а походку сделать нетвердой.

Субстанция самой жизни пьянит. И вино тут вроде бы и не нужно...

И все же не только каждая вещь видится отдельной — удивительной и прекрасной, но и весь мир — цельным и самодостаточным. Он прекрасен в целом, но и во всех своих подробностях-частностях.

Но... с каждой вещью рождается и поэт, представляя себя в ней, а ее представляя в себе. И тогда «Я пью за...» означает и за себя тоже, потому что все это — его и им же порождено. Миг совпадения точно неразрываем. Он бес-просветен. Такие поэты «не символисты, потому что не ищут в каждом мгновении просвета в вечность. Они акмеисты, потому что они берут в искусство те мгновения, которые могут быть вечными»⁴. А причастно к вечному только свершенное, и потому совершенное. И потому же достойное того, чтоб *за это* выпить. И не в том смысле, чтобы тому, за что пьют, было хорошо, а чтобы восславить *это* вместе с самим собой, сказавшим «Я пью...» За то и это, но по отдельности за каждого (или каждую), будь то *астра* или *роза*. Или даже *астма*. Но каждая — в своей всецелой воплощенности. «Отныне безобразно только то, что безобразно, что недоовоплощено, что завяло между бытием и небытием»⁵.

Но *роза* не завяла (даже если она в *кабине ролс-ройса*), потому что у акмеистов *роза* опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще»⁶.

Пропеть. Воспеть. А где вос-петь, там и вос-пить...

⁴ Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэзии. 1913 г.

⁵ Опять Городецкий, из той же работы.

⁶ Он же, там же.

Но Адам давал имена природному, а Мандельштам и рукотворному тоже. И в совершенно иных условиях — в мире культуры. И тогда одного величия именем мало. Надо, чтобы это повторное наречение сделалось событием. *Событием имени*. Со-бытием имени и со-предельных к нему. Тогда то и станет вещь не просто ею самой, а воистину бытийствующей. Живой! А раз живой, то, возможно, и любимой, достойной «Я пью за...» И поэт расширяет имя до бытия имени, а значит, и того, что поименовано.

Что такое *шуба* без того, что она — *барская*, или просто *желчь* без *петербургского дня*, или *музыка* вообще, а не *музыка сосен*... Или *кувшин* без *альпийских сливок*. Никакого проку и не в коня корм... И почему, спрашивается, надо пить просто за *спесь*, если она не принадлежит *англичанкам*, а сама эта *спесь* не *рыжая*? А *хинин* — просто горечь противная — хина какая-то, как просто желчь, если этот хинин не из *дальних колоний*. И так — далее...

Так оживают имена-вещи, как в «Синей птице» Метерлинка. Но... остались загадочные *военные астры*.

Мир ожил. И все в нем живое. И за каждое в нем — «Я пью...»

Но *пью* или только собираюсь? И здесь не скажешь: «И немедленно выпил...» Идет медитация: мир и его население являются и сами становятся участниками пира всечувствования: зрения, слуха, обоняния, тактильных и вкусовых ощущений. Все читатели живут всем этим, а все *эти* — тем, что про них здесь возглашено.

Простите, но ведь еще, как говорят, не *нолито?*..

Подхожу к заветному...

«Я пью...» пока что риторическая фигура. Трезвость. Ясность и определенность всего и вся. Так сказать, *ни в одном глазу*, хотя и после троекратного «Я пью...». А слышится и воспринимается как *пью, пью и пью*. Лишь в последних двух стихах выясняется, что не только что не выпито еще ни грамма, но и не решено, *что пить будем*:

Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно:

Веселое асти-спуманте иль папского замка вино...

Создается впечатление, что это еще один тост — за самое вино: то или это. А это, оказывается, то, с чего следует величать все вещи мира, а значит и *весь мир*, божественно (= по-человечески) звонко сверкающий во всех своих упоительно-влекущих подробностях.

Но сделалось так, как сказало: трезво, ясно, *вживе* отдельно. На трезвую голову. *Что у трезвого на уме, то у трезвого же и на языке*. Тождество замысленного и сказанного — вопреки Тютчеву, но в согласии с тем, что *veritas in vino*. Потому

что субстанция — *Вино* — уже разлита по выстроенному поэтом зданию *мира*. Мирозданию.

Дело за малым — выбрать: *веселое асти-спунанте* или *вино папского замка*. Второе будет, по видимому, *вино с печалью* (за все вышепоименованное). А первое — *брызги шампанского и рио-рита*.

И то и другое (в сущности одно как субстанция) — великий уравниватель *вся и всего*, в их тождественности — бытийственной человеческой данности, жизненности *светлой печали*.

Но... таинственные «военные астры».

Вкус, обоняние, осязание, слух, зрение... Подробность. Деталь. И все это настояно на *шестом чувстве* — чувстве Слова. Слова Поэта, воплощающего воображаемое. «Я пью за военные астры...» — о собственном мысленном питии на *трезвейшую* голову...

Субстанция вина — метафизическая субстанция. Если у символиста Блока она *пьянит* слово, у акмеиста Мандельштама она же его *трезвит*. Но у того и у другого — это *слово Поэта*.

То или это — выбирать вольно! Или и то и это?.. В тон самой жизни — *светло-печальной*. Тождественной самой себе. Потому что, ничего нового не скажу: *жизнь есть жизнь...*

Розы Мандельштама трезвы, но трезвы трезвостью *ролс-ройсовской* цивилизации. И потому их надо отмыть от столичной пыли. *Обмыть* или заклясть словом «Я пью...» Вакхически, по-пушкински, заклясть... И тогда обыденность становится метафизической гармонией, хаос — космосом, но помнящем о постмодернистском, умберто-эковском *хаосмосе*.

Что нынче? «Миллион, миллион, миллион *алых* (вторая л моя — *В. Р.*) роз». Но как *одна* — из окна мироздания: Вознесенского — Паулса — Пугачевой. *Одна*, но как *миллион*. Отсылающая нас к наивному зрению Нико Пиросмани, увидевшего розу как *розу впервые* и попытавшегося передать свой *первозор* той, для которой...

В неизбывности *Любви* и *Розы*. И Соловья, — потому что положено на музыку и поется. Цинандално. Любовно. Первозданно.